

**Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ**

---

*ЧТО ДЕЛАТЬ?*



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ  
МОСКВА*

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44  
Ч-49

Серия «Эксклюзив: Русская классика»

Серийное оформление *А. Фереца, Е. Фереца*

**Чернышевский, Николай Гаврилович.**

Ч-49 Что делать? / Николай Гаврилович Чернышевский. — Москва : Издательство АСТ, 2026. — 576 с. — (Эксклюзив: Русская классика).

ISBN 978-5-17-105407-6

Наверное, в русской литературе XIX века не было романа более скандального, чем «Что делать?», — книги, впервые опубликованной в 1862 году, тотчас же запрещенной цензурой и тем не менее известной каждому русскому читателю. Этим романом, переведенным на 9 языков еще при жизни автора, восхищались Кропоткин, Золя и Стриндберг и возмущались Достоевский и Лесков, его либо безоговорочно принимали, либо столь же безоговорочно отрицали. Но что именно столь сенсационного и опасного нашли современники в произведении, о котором сам автор писал, что в нем лишь «хотел изобразить обыкновенных порядочных людей нового поколения»?..

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-17-105407-6

© ООО «Издательство АСТ», 2026

*Посвящается моему другу О. С. Ч.*



# I

## ДУРАК

Поутру 11 июля 1856 года прислуга одной из больших петербургских гостиниц у станции Московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге. Накануне, в 9-м часу вечера, приехал господин с чемоданом, занял номер, отдал для прописки свой паспорт, спросил себе чаю и котлетку, сказал, чтоб его не тревожили вечером, потому что он устал и хочет спать, но чтобы завтра непременно разбудили в 8 часов, потому что у него есть спешные дела, запер дверь номера и, пошумев ножом и вилокю, пошумев чайным прибором, скоро притих, — видно, заснул. Пришло утро; в 8 часов слуга постучался к вчерашнему приезжему — приезжий не подает голоса; слуга постучался сильнее, очень сильно — приезжий все не откликается. Видно, крепко устал. Слуга подождал четверть часа, опять стал будить, опять не добудился. Стал советоваться с другими слугами, с буфетчиком. «Уж не случилось ли с ним чего?» — «Надо выломать двери». — «Нет, так не годится: дверь ломать надо с полициею». Решили: попытаться будить еще раз, посильнее; если и тут не проснется, послать за полициею. Сделали последнюю пробу; не добудились; послали за полициею и теперь ждут, что увидят с нею.

Часам к 10-ти утра пришел полицейский чиновник, постучался сам, велел слугам постучаться, — успех тот же, как и прежде. «Нечего делать, ломай дверь, ребята».

Дверь выломали. Комната пуста. «Загляните-ко под кровать» — и под кроватью нет проезжего. Полицейский чиновник подошел к столу, — на столе лежал лист бумаги, а на нем крупными буквами было написано:

«Ухожу в 11 часов вечера и не возвращусь. Меня услышат на Литейном мосту, между 2-мя и 3-мя часами ночи. Подозрений ни на кого не иметь».

— Так вот оно, штука-то теперь и понятна, а то никак не могли сообразить, — сказал полицейский чиновник.

— Что же такое, Иван Афанасьевич? — спросил буфетчик.

— Давайте чаю, расскажу.

Рассказ полицейского чиновника долго служил предметом одушевленных пересказов и рассуждений в гостинице. История была вот какого рода.

В половине 3-го часа ночи — а ночь была облачная, темная — на середине Литейного моста сверкнул огонь, и послышался пистолетный выстрел. Бросились на выстрел караульные служители, сбежались малочисленные прохожие, — никого и ничего не было на том месте, где раздался выстрел. Значит, не застрелил, а застрелился. Нашлись охотники нырять, притащили через несколько времени багры, притащили даже какую-то рыбацкую сеть, ныряли, нащупывали, ловили, поймали полсотни больших щеп, но тела не нашли и не поймали. Да и как найти? — ночь темная. Оно в эти два часа уж на взморье, — поди, ищи там. Поэтому возникли прогрессисты, отвергнувшие прежнее предположение: «А может быть, и не было никакого тела? может быть, пьяный, или просто озорник, поду-

рачился, — выстрелил, да и убежал, — а то, пожалуй, тут же стоит в хлопочущей толпе да подсмеивается над тревогою, какую наделал».

Но большинство, как всегда, когда рассуждает благоразумно, оказалось консервативно и защищало старое: «какое подурачился — пустил себе пулю в лоб, да и все тут». Прогрессисты были побеждены. Но победившая партия, как всегда, разделилась тотчас после победы. Застрелился, так; но отчего? «Пьяный», — было мнение одних консерваторов; «промотался», — утверждали другие консерваторы. — «Просто дурак», — сказал кто-то. На этом «просто дурак» сошлись все, даже и те, которые отвергали, что он застрелился. Действительно, пьяный ли, промотавшийся ли застрелился, или озорник, вовсе не застрелился, а только выкинул штуку, — все равно, глупая, дурацкая штука.

На этом остановилось дело на мосту ночью. Поутру, в гостинице у Московской железной дороги, обнаружилось, что дурак не подурачился, а застрелился. Но остался в результате истории элемент, с которым были согласны и побежденные, именно, что если и не пошалил, а застрелился, то все-таки дурак. Этот удовлетворительный для всех результат особенно прочен был именно потому, что восторжествовали консерваторы: в самом деле, если бы только пошалил выстрелом на мосту, то ведь, в сущности, было бы еще сомнительно, дурак ли, или только озорник. Но застрелился на мосту, — кто же стреляется на мосту? Как же это на мосту? Зачем на мосту? Глупо на мосту! — и потому, несомненно, дурак.

Опять явилось у некоторых сомнение: застрелился на мосту; на мосту не стреляются, — следовательно, не застрелился. — Но к вечеру прислуга гостиницы была позвана в часть смотреть вытащенную из воды простреленную фуражку, — все признали, что фуражка

та самая, которая была на проезжем. Итак, несомненно застрелился, и дух отрицания и прогресса побежден окончательно.

Все были согласны, что «дурак», — и вдруг все заговорили: на мосту — ловкая штука! Это чтобы, значит, не мучиться долго, коли не удастся хорошо выстрелить, — умно рассудил! От всякой раны свалится в воду и захлебнется, прежде чем опомнится, — да, на мосту... умно!

Теперь уж ровно ничего нельзя было разобрать, — и дурак, и умно.

## II

### ПЕРВОЕ СЛЕДСТВИЕ ДУРАЦКОГО ДЕЛА

В то же самое утро, часу в 12-м, молодая дама сидела в одной из трех комнат маленькой дачи на Каменном острове, шила и вполголоса напевала французскую песенку, бойкую, смелую.

«Мы бедны, — говорила песенка, — но мы рабочие люди, у нас здоровые руки. Мы темны, но мы не глупы и хотим света. Будем учиться — знание освободит нас; будем трудиться — труд обогатит нас, — это дело пойдет, — проживем, доживем —

Ça ira  
Qui vivra, verra\*.

Мы грубы, но от нашей грубости терпим мы же сами. Мы исполнены предрассудков, но ведь мы же сами страдаем от них, это чувствуется нами. Будем искать

---

\* Дело пойдет,  
Кто будет жить, увидит (фр.).

счастья, и найдем гуманность, и станем добры, — это дело пойдет, — поживем, доживем.

Труд без знания бесплоден, наше счастье невозможно без счастья других. Просветимся — и обогатимся; будем счастливы — и будем братья и сестры, — это дело пойдет, — поживем, доживем.

Будем учиться и трудиться, будем петь и любить, будет рай на земле. Будем же веселы жизнью, — это дело пойдет, оно скоро придет, все дождемся его, —

Donc, vivons,  
Ça bien vite ira,

Ça viendra,  
Nous tous le verrons»\*.

Смелая, бойкая была песенка, и ее мелодия была веселая, — было в ней две-три грустные ноты, но они покрывались общим светлым характером мотива, исчезали в рефрене, исчезали во всем заключительном куплете, — по крайней мере, должны были покрываться, исчезать, — и исчезали бы, если бы дама была в другом расположении духа; но теперь у ней эти немногие грустные ноты звучали слышнее других, она как будто встрепетается, заметив это, понизит на них голос и сильнее начнет петь веселые звуки, их сменяющие, но вот она опять унесется мыслями от песни к своей думе, и опять грустные звуки берут верх. Видно, что молодая дама не любит поддаваться грусти; только видно, что грусть не хочет отстать от нее, как ни отталкивает она ее от себя. Но грустна ли веселая песня, становится

---

\* Итак, живем,  
Оно скоро придет,  
Оно придет,  
Мы его увидим (*фр.*).

ли опять весела, как ей следует быть, дама шьет очень усердно. Она хорошая швея.

В комнату вошла служанка, молоденькая девушка.

— Посмотрите, Маша, какво я шью? Я уж почти кончила рукавички, которые готовлю себе к вашей свадьбе.

— Ах, да на них меньше узора, чем на тех, которые вы мне вышили!

— Еще бы! Еще бы невеста не была наряднее всех на свадьбе!

— А я принесла вам письмо, Вера Павловна.

По лицу Веры Павловны пробежало недоумение, когда она стала распечатывать письмо: на конверте был штемпель городской почты. «Как же это? Ведь он в Москве?» Она торопливо развернула письмо и побледнела; рука ее с письмом опустилась. «Нет, это не так, я не успела прочесть, в письме вовсе нет этого!» И она опять подняла руку с письмом. Все было делом двух секунд. Но в этот второй раз ее глаза долго, неподвижно смотрели на немногие строки письма, и эти светлые глаза тускнели, тускнели, письмо выпало из ослабевших рук на швейный столик, она закрыла лицо руками, зарыдала. «Что я наделала! Что я наделала!» — и опять рыданье.

— Верочка, что с тобой? Разве ты охотница плакать? когда ж это с тобою бывает? Что ж это с тобой?

Молодой человек быстрыми, но легкими, осторожными шагами вошел в комнату.

— Прочти... оно на столе...

Она уже не рыдала, но сидела неподвижно, едва дыша.

Молодой человек взял письмо; и он побледнел, и у него задрожали руки, и он долго смотрел на письмо, хотя оно было не велико, всего-то слов десятка два:

«Я смущал ваше спокойствие. Я схожу со сцены. Не жалеете; я так люблю вас обоих, что очень счастлив своею решимостью. Прощайте».

Молодой человек долго стоял, потирая лоб, потом стал крутить усы, потом посмотрел на рукав своего пальто; наконец он собрался с мыслями. Он сделал шаг вперед к молодой женщине, которая сидела по-прежнему неподвижно, едва дыша, будто в летаргии. Он взял ее руку:

— Верочка!

Но лишь коснулась его рука ее руки, она вскочила с криком ужаса, как поднятая электрическим ударом, стремительно отшатнулась от молодого человека, судорожно оттолкнула его:

— Прочь! Не прикасайся ко мне! Ты в крови! На тебе его кровь! Я не могу видеть тебя! Я уйду от тебя! Я уйду! отойди от меня! — И она отталкивала, все отталкивала пустой воздух и вдруг пошатнулась, упала в кресло, закрыла лицо руками.

— И на мне его кровь! На мне! Ты не виноват — я одна... я одна! Что я наделала! Что я наделала!

Она задыхалась от рыдания.

— Верочка, — тихо и робко сказал он, — друг мой!..

Она тяжело перевела дух и спокойным и все еще дрожащим голосом проговорила, едва могла проговорить:

— Милый мой, оставь теперь меня! Через час войди опять, — я буду уже спокойна. Дай мне воды и уйди!

Он повиновался молча. Вошел в свою комнату,сел опять за свой письменный стол, у которого сидел такой спокойный, такой довольный за четверть часа перед тем, взял опять перо... «В такие-то минуты и надобно уметь владеть собою; у меня есть воля, — и все пройдет... пройдет»... А перо, без его ведома, писало среди

какой-то статьи: «перенесет ли? — ужасно, — счастье погибло»...

— Милый мой! я готова, поговорим! — послышалось из соседней комнаты. Голос молодой женщины был глух, но тверд.

— Милый мой, мы должны расстаться. Я решилась. Это тяжело. Но еще тяжелее было бы нам видеть друг друга. Я его убийца. Я убила его для тебя.

— Верочка, чем же ты виновата?

— Не говори ничего, не оправдывай меня, или я возненавижу тебя. Я, я во всем виновата. Прости меня, мой милый, что я принимаю решение, очень мучительное для тебя, — и для меня, мой милый, тоже! Но я не могу поступить иначе, ты сам через несколько времени увидишь, что так следовало сделать. Это неизменно, мой друг. Слушай же. Я уезжаю из Петербурга. Легче будет вдали от мест, которые напоминали бы прошлое. Я продаю свои вещи; на эти деньги я могу прожить несколько времени, — где? В Твери, в Нижнем, я не знаю, все равно. Я буду искать уроков пения; вероятно, найду, потому что поселюсь где-нибудь в большом городе. Если не найду, пойду в гувернантки. Я думаю, что не буду нуждаться; но если буду, обращусь к тебе; позаботься же, чтоб у тебя на всякий случай было готово несколько денег для меня; ведь ты знаешь, у меня много надобностей, расходов, хоть я и скупа; я не могу обойтись без этого. Слышишь? я не отказываюсь от твоей помощи! пусть, мой друг, это доказывает тебе, что ты остаешься мил мне... А теперь, простимся навсегда! Отправляйся в город... сейчас, сейчас! мне будет легче, когда я останусь одна. Завтра меня уже не будет здесь — тогда возвращайся. Я еду в Москву, там осмотрюсь, узнаю, в каком из провинциальных городов вернее можно рассчитывать на уроки. Запрещаю

тебе быть на станции, чтобы провожать меня. Прощай же, мой милый, дай руку на прощанье, в последний раз пожму ее.

Он хотел обнять ее, — она предупредила его движение.

— Нет, не нужно, нельзя! Это было бы оскорблением ему. Дай руку. Жму ее — видишь, как крепко! Но прости!

Он не выпускал ее руки из своей.

— Довольно, иди. — Она отняла руку, он не смел противиться. — Прости же!

Она взглянула на него так нежно, но твердыми шагами ушла в свою комнату и ни разу не оглянулась на него уходя.

Он долго не мог отыскать свою шляпу; хоть раз пять брал ее в руки, но не видел, что берет ее. Он был как пьяный; наконец понял, что это под рукою у него именно шляпа, которую он ищет, вышел в переднюю, надел пальто; вот он уже подходит к воротам: «кто это бежит за мною? Верно, Маша... верно, с нею дурно!» Он обернулся — Вера Павловна бросилась ему на шею, обняла, крепко поцеловала.

— Нет, не утерпела, мой милый! Теперь прости навсегда!

Она убежала, бросилась в постель и залилась слезами, которые так долго сдерживала.

### III

## ПРЕДИСЛОВИЕ

«Содержание повести — любовь, главное лицо — женщина, — это хорошо, хотя бы сама повесть и была плоха», — говорит читательница.

— Это правда, — говорю я.

Читатель не ограничивается такими легкими заключениями, — ведь у мужчины мыслительная способность и от природы сильнее, да и развита гораздо больше, чем у женщины; он говорит, — читательница тоже, вероятно, думает это, но не считает нужным говорить, и потому я не имею основания спорить с нею, — читатель говорит: «я знаю, что этот застрелившийся господин не застрелился». Я хватаюсь за слово «знаю» и говорю: ты этого не знаешь, потому что этого тебе еще не сказано, а ты знаешь только то, что тебе скажут; сам ты ничего не знаешь, не знаешь даже того, что тем, как я начал повесть, я оскорбил, унизил тебя. Ведь ты не знал этого, — правда? — ну, так знай же.

Да, первые страницы рассказа обнаруживают, что я очень плохо думаю о публике. Я употребил обыкновенную хитрость романистов: начал повесть эффектными сценами, вырванными из середины или конца ее, прикрыл их туманом. Ты, публика, добра, очень добра, а потому ты неразборчива и недогадлива. На тебя нельзя положиться, что ты с первых страниц можешь различить, будет ли содержание повести стоить того, чтобы прочесть ее, у тебя плохое чутье, оно нуждается в пособии, а пособий этих два: или имя автора, или эффективность манеры. Я рассказываю тебе еще первую свою повесть, ты еще не приобрела себе суждения, одарен ли автор художественным талантом (ведь у тебя так много писателей, которым ты присвоила художественный талант!), моя подпись еще не заманила бы тебя, и я должен был забросить тебе удочку с приманкою эффективности. Не осуждай меня за то, — ты сама виновата; твоя простодушная наивность принудила меня унизиться до этой пошлости. Но теперь ты уже попалась в мои руки, и я могу продолжать рассказ, как, по-моему, сле-

дует, без всяких уловок. Дальше не будет таинственности, ты всегда будешь за двадцать страниц вперед видеть развязку каждого положения, а на первый случай я скажу тебе и развязку всей повести: дело кончится весело, с бокалами, песнью; не будет ни эффектности, никаких прикрас. Автору не до прикрас, добрая публика, потому что он все думает о том, какой сумбур у тебя в голове, сколько лишних, лишних страданий делает каждому человеку дикая путаница твоих понятий. Мне жалко и смешно смотреть на тебя: ты так немощна и так зла от чрезмерного количества чепухи в твоей голове.

Я сердит на тебя за то, что ты так зла к людям, а ведь люди — это ты: что же ты так зла к самой себе? Потому я и браню тебя. Но ты зла от умственной немощности, и потому, браня тебя, я обязан помогать тебе. С чего начать оказывание помощи? Да хоть с того, о чем ты теперь думаешь: что это за писатель, так нагло говорящий со мною? — Я скажу тебе, какой я писатель.

У меня нет ни тени художественного таланта. Я даже и языком-то владею плохо. Но это все-таки ничего: читай, добрейшая публика! прочтешь не без пользы. Истина — хорошая вещь: она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей. Поэтому я скажу тебе: если б я не предупредил тебя, тебе, пожалуй, показалось бы, что повесть написана художественно, что у автора много поэтического таланта. Но я предупредил тебя, что таланта у меня нет, — ты и будешь знать теперь, что все достоинства повести даны ей только ее истинностью.

Впрочем, моя добрейшая публика, толкуя с тобою, надобно договаривать все до конца; ведь ты хоть и охотница, но не мастерица отгадывать недосказанное. Когда я говорю, что у меня нет ни тени художе-